

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-4
С 32

*Допущено к распространению
Издательским советом
Русской Православной Церкви*
ИС Р18-802-0048

Сергеева В. Н.
С 32 Дорога домой: Сборник прозы / Вступ. слово
свящ. А. Гумерова. — М.: Сибирская Благовонни-
ца, 2019. — 442, [6] с.
ISBN 978-5-00127-035-5

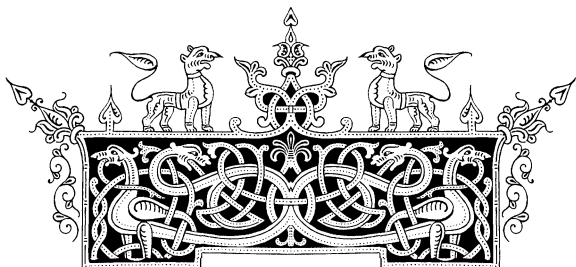
Перед вами две повести, погружающие читателя в непривычный и очень реальный мир прошлого. Отчасти их можно назвать историческими или приключенческими. Они отличаются глубоким проникновением в обрисованную эпоху, взглядом изнутри на реальные события: в первой повести — это нашествие монголо-татар на Русь, во второй — время Отечественной войны 1812 года. Герои первой — два русских мальчика из разоренной Рязани, пробирающиеся домой с чужбины, куда их увели в полон. Во второй девочка Саша во время наступления французской армии отправляется в опасное путешествие, чтобы разыскать своих родных. И хотя дети являются главными героями этих произведений, интересные сюжеты, изложенные прекрасным литературным языком, не оставят равнодушными и взрослых читателей.

© Сергеева В.Н., текст, 2019
© Издательство Сибирская Благовонница,
оформление, 2019

ДОРОГА ДОМОЙ

Повесть-сказка





Давно это было, очень давно. Наших бабушек и дедушек на свете еще не было, и прабабушек, и даже прапрапра...

Впрочем, обо всем по порядку.

Звали его Двойна. А почему так называли — и почему, кроме того, еще Данилой зовут, — он как-то и не задумывался.

Когда Двойна маленький был, он и знал мало. Вот изба, в избе дверь. Сначала и за дверь нельзя — пойдешь, а тебе пальцем грозят: не балуй! Вот сестра Авдотья, высоко-высоко над ним, надо голову задрать, чтоб лицо разглядеть. Чуть подрос малый, перелез на карачках через

порог — узнал, что за дверью двор, а на дворе еще другая изба, поменьше, и в ней что-то мычит. Страшное, большое, с рогами. «Корова», — говорят. На вид чудиче, зато молоко дает — вкусное. Уцепится Двойна за сестрин подол и бежит на двор и к корове. Споткнется, шлепнется — не беда, умоют. Молоко в подойник льется струйками, весело звенит. Ну-ка, набежит целый подойник или нет? «Глядишь — ладно, только не мешай». Целый мир для Двойны изба и двор. Петух клюется. Грязь липкая, уголь мажется. А вот камушек красивый, гладкий. Снег — что такое, почему холодный? Стукнулся лбом в дверь — узнал, что больно. Схватился за печку — узнал, что горячо. Пришли на двор большие ребята, посадили на тележку, повезли, опрокинули — сначала испугался, а потом ничего, весело. Сестра то смеется, то хмурится, а то и заплачет — почему? Всё непонятно, и всё интересно.

Еще подросток — узнал, что за двором другие избы есть. Где они стоят, называется улица. И не просто улица, а Кузнечная слобода. В слободе мастера живут, гвозди делают, ножи, подковы, плуги, чтоб землю пахать. Называются — кузнецы. Когда кузнец работает, близко подходить не надо — бух-бух по железу молотками, искры так и летят. Если попадет в глаз, ослепнуть можно. Один за веревку тянет, из кожаного мешка на огонь воздухом дует — ух! ух! Огонь от этого ярче разгорается, железо в нем белым делается, мягким, тогда гни его на все стороны, что хочешь выйдешь. Такие умельцы есть, что из куска железа могут не то что гвоздь или подкову, а настоящую чудо-птицу сделать или ветку с цветами. Двойне как-то дали маленький молоточек, с палец толщиной, как раз под силу, разрешили постучать. Звонко запело железо, тоненько, как колокольчик!

В слободе и люди особенные — слобожане. И церковь своя — слободская. Называется — святых мучеников Флора и Лавра. Поди-ка выговори! Вот и говорят все — Фрола вместо Флора. Церковь особенная, потому что деньги на нее всем миром собирали. Вместе то есть. Кто даст медную монетку, кто и целую серебряную гривну. На те деньги нанимали мастеров, каменщиков да плотников, чтоб церковь вышла повиднее, повыше.

За Кузнечной слободой другая слобода — Горшечная. Там понятно кто живет. За ней еще третья — Мясная. За третьей — четвертая... И всё-то Двойне надо узнать. Избы на улицах, улицы в слободах, а слободы в городе.

А город называется — Рязань.

Как сестру Авдотью замуж выдавали, Двойна сначала помнил хорошо, а потом забыл. Маленький он был, едва шестой

год пошел. Твердо запомнил только, как нарядила его тетка в новую рубаху, вышел он на двор, а там соседские девчонки — Ульянка, Жданка и Малашка. Захотелось Двойне покрасоваться, влез он на плетень, на самую верхнюю жердь, да как крикнет:

— Гляньте на меня!

Девчонки глянули, а он коленками за жердь уцепился и вниз головой повис — вот, мол, как я умею! Коленки ослабли, и свалился Двойна в новой рубахе прямо в лужу под плетнем. Девчонки со смеху так и покатались, особенно Малашка-вредина. Выскочила тетка, достала немного из грязи и потащила за руку — умываться и рубаху менять. Вот тебе и праздник. На сестрину свадьбу пришлось вместо новой рубахи старую надеть, да еще и побранили. Хорошо хоть, в утешенье красным пояском подпоясали.

Тетка — потому что у Авдотьи и Двойны ни отца, ни матери, круглые сироты.

Матери Двойна совсем не помнил, и немудрено: как он родился, она через две недели померла. Выкормили его тетка с сестрой рожком, на коровьем молоке. И до сих пор, как рассердятся, скажут: «Ишь, неласковый какой, не мамкой вскормлен». А отца не стало, когда Двойне третий год пошел. На реке отец утонул весной, в ледоход. Его Двойна хоть капельку, а помнил — большой был у него батя, под самое небо.

Посадили Двойну за стол, дали в руки скалку. Сказали: как войдет жених, бей скалкой по столу. Сидел-сидел Двойна, надоело — жених не едет. Слез с лавки, заглянул за занавеску, где сестру наряжали, да оттуда его бабы погнали: «Не мешай!» Двойна опять под стол — стал играть, как будто он медведь в берлоге. Меж тем закричали: «Едет, едет жених!» Двойна под столом подпрыгнул, головой стукнулся, на столе крынка упала. Тетка только рукой махнула — чистое

наказание с малым! А в сенях уже возит-ся кто-то, ногами стучит, у двери скобку ищет. Двойне и страшно, и любопытно глянуть, какой он, жених. Вдруг страшный? То-то накануне Авдотья плакала, слезами заливалась, песни грустные пела, а подружки утешали. Двойна решил: «Не отдам ее страшному, пускай домой вертается!»

Вошли сначала двое, черный да седой. Двойна даже испугался: может, этот, седой-то, старый, и есть жених? А за ними следом — русский, кудрявый, борода лопатой. Ростом — под потолок! Двойне тет-ка рукой замахала, он скалкой бац по столу. Тогда ему черный да седой пряников поднесли.

— Вылезай, — говорят, — здесь жени-ха посадим.

Тут и Авдотью из-за занавески бабы вывели.

А Двойне жених понравился — мо-лодой, веселый. На батю похож. И чего

Авдотья плакала? Вот глупая какая. Двойна так всю свадьбу и просидел, на жениха глядя, даже про пряники забыл.

Убрали Авдотье волосы, вывели жениха и невесту во двор.

— Ну, — говорят, — жених, покажи силу.

Улыбнулся кудрявый, взял Авдотью на руки, бегом обежал с ней вокруг двора — даже не запыхался. Двойна не выдержал, крикнул:

— И меня! Меня возьми!

Под самое небо Авдотьин жених его подбросил.

— Еще! Еще!

— Нет, — говорят, — хватит. Теперь пускай невестушка силу покажет, здорова ли.

Двойне любопытно стало — неужто Авдотья жениха подымать станет? А та улыбнулась, повернулась спиной и говорит:

— Ну, Олекша, клади руки мне на плечи.

Жених засмутился вроде, однако положил руки Авдотье на плечи — легонько. А она их покрепче ухватила, согнулась да и взвалила Олекшу на закорки, как мешок!

— Отпускай, — кричат, — отпускай, будет!

Раскраснелась вся, а улыбается. Сильная она, Авдотья, ох и сильная. Два ведра на коромысле несет — не шелохнется, взапуски бегают — парни догнать не могут. Олекша к Двойне подошел, присел на корточки. Спрашивает:

— Будешь меня любить? Я теперь тебе как старший брат.

Двойна — малый осторожный. У них, у больших, каждое слово с крючком да с подковыркой, вечно нороят над ребятами посмеяться. Свяжись только — не обрадуешься. Говорят потом: «Шутки не понимаешь!» А какие тут шутки? У Двойны всё всерьез.

— Уши рвать не будешь?

-
- А ты баловать не станешь?
Вздыхнул Двойна — тяжело, как большой.
- То-то и оно, — говорит. — Оно само как-то балуется...

Теперь у Двойны есть племянник. Зовут его Андрейка. Маленький, всё время кричит... Непонятный. До сих пор всё понятно в избе было, а тут Андрейка. Когда он родился, дали Двойне в зыбку глянуть. Смотрит он — лежит там что-то, словно гусеничка на грядке. Авдотья сказала:

— Вот тебе племяш, будешь с ним играть.

А как с ним играть? Племяш ни ходить, ни говорить не может, лежит себе в зыбке, ножками сучит и плачет. Скучно. Вместо игры настоящей изволь с ним возиться.

— Двойна, покачай малого. Двойна, покажи козу рогатую.

Да еще сердятся:

— Не шуми! Не стучи ногами! Ой, уронишь!

Как-то раз Двойна стал с Андрейкой по избе кружиться и стукнул его пяткой о печку. Крику было! А он ведь не нарочно. Вот и получается — играть с племяшом не теперь, а потом, когда вырастет. А когда он вырастет? А вдруг не вырастет? Может, так и будет всю жизнь в зыбке лежать. Обиделся Двойна: зачем старшие неправду говорят? Стал он нарочно Андрейке досаждать — то ущипнет, то подкрадется и вместо козы рогатой страшную рожу скорчит. Андрейка — реветь, а Двойны уж и след простыл. Поди разберись, отчего малый плачет...

Однажды Двойна Андрейку, как обычно, напугал, а сам стрекача от зыбки, да не тут-то было — уткнулся на бегу прямо в ноги Олекше. Думал, тот ему сейчас уши драть будет, а Олекша сел,

Двойну к себе на колени посадил и давай легонько подкидывать, как в лошадики играют: «Поехали-поехали, за грибами, за орехами...» Двойне и весело стало, и грустно — давно с ним не играли, все только с Андрейкой возятся. А он ведь тоже еще маленький. Разве его разлюбили, когда Андрейка родился?

— Ты, Двойна, не обижай племяша, нехорошо, — сказал Олекша. — Ему у тебя учиться надо, пример брать, а этак чему он научится? И вовсе ничему хорошему. А ты-то уж много чего умеешь. Показал бы младшему, что да как, а то пока он еще приладится. Подрастет — он тебе первому спасибо скажет.

— А подрастет? — спросил Двойна.

С сомнением спросил — как-то ему всё не верилось.

— А то! Ты помогай сестрице — Андрейка быстрее расти станет. Дети растут, когда в доме лад. Давно ли ты сам маленьким был, в зыбке лежал? Время,

оно быстро летит, оглянуться не успеешь — встанет племяш на ножки.

Двойна Андрейке с тех пор говорить стал:

— Ты давай вставай поживей. А то мне играть не с кем.

И что вы думаете? Года не прошло, стал Андрейка на четвереньках ползать, да так быстро — не догонишь! Посадил Двойна как-то раз племяша на пол, сам на двор вышел. Вернулся — а Андрейка на ножках стоит. За лавку держится, шатается, но стоит. Не обманул, значит, Олекша.

Двойне седьмой год минул. Авдотья сказала:

— На Чистой исповедоваться пойдешь. Ты теперь уж не младенец, а отрок.

Что такое «исповедоваться», Двойна знал. В церкви он бывал и видел, как люди к батюшке подходили и что-то ему

такое, накрывшись, рассказывали шепотом — интересное, должно быть. Авдотья объяснила: это они сознаются, если что-нибудь дурное сделали. Значит, совесть их мучает.

— А зачем сознаваться?

— Чтоб Боженька простил.

Только говорить надо честно, даже если стыдно, иначе толку не будет. Бабушка-то, может, и не узнает, зато Бог узнает. А как Ему тогда тебя простить, если ты в глаза врешь? Вот и получается, что вместо прощенья будешь дважды виноват — и за старое, и за то, что соврал.

Хоть и радовался Двойна, что он уже не младенец, а отрок, а всё-таки было ему боязно. Авдотья хоть и добрая, но и та может, если виноват, уши натрепать. А ну как Бог-то ему по маковке так стукнет, что и дух вон? Всю ночь перед исповедью Двойна вертелся на лавке, спать не мог — и хочется в первый раз исповедоваться, как большие, и страшно. Иной

раз натворишь что-нибудь, так никому не скажешь, даже Авдотье с Олекшей. А тут — Богу. А вдруг не простит?

Не выдержал Двойна, встал посреди ночи, сестру разбудил:

— А Бог всякого простит, если признаться?

— Бог даже разбойника простил, а тебя, несмышленного, и подавно. Спи!

Утром Авдотья его подняла, умыла, надела чистую рубашечку. Вместе в церковь пошли. Как служба отошла, сестра его сама за руку к батюшке подвела.

— Первый раз, — говорит.

Двойна на батюшку посмотрел, и вроде на душе полегчало. Батюшка смотрит ясно, с улыбкой. Так-то оно так, а вдруг осерчает? Много у Двойны грехов, ох много. Сестру не слушал, миску новую разбил и черепки под крыльцо забросил, с Малашкой подрался, сметану с кринок снимал. Андрейку обижал опять же...

Склонился к нему батюшка и спрашивает:

— Как крещен?

Двойна молчит. Память ему как ножом отрезало, и язык путаться стал. Батюшка тогда подхватил его под мышки, поднял повыше и говорит:

— Православные! Тут раб Божий имечко свое забыл. Пособите, сделайте милость, не дайте пропасть.

Авдотья крикнула:

— Данилой, Данилой крещен!

И Двойна спускается на землю. Полетал по воздуху, и весь страх прошел. Сразу видно — добрый батюшка и Бог добрый, не осерчает.

— Не забудешь теперь? — ласково спрашивает батюшка. — Ну, пойдём теперь поговорим.

Когда возвращаются домой, Олекша смеется:

— Как же ты, раб Божий, свое имя-то позабыл? Испугался?

А Двойна важно шагает. Пускай смеются! Зато он на исповеди был, как большие. Пришли домой, спросил он у сестры:

— Почему у меня два имени — Данила и Двойна?

— Потому, — говорит Авдотья, — что матушке тяжело с тобой на сносях ходить было, думали — двое ребятишек сразу родятся. А тут ты один. Потому и зовем мы тебя Двойна, это вроде как матушкина памятка. А Данилой тебя в церкви крестили, как положено.

Двойна сразу заважничал:

— Стало быть, я у вас один за двоих?

— Выходит, так.

— Ну, — говорит Двойна, — тогда нынче киселя мне вдвое давайте.

Рассмеялась Авдотья, затормошила брата, защекотала — сразу за двоих досталось!



А у Андрейки своя беда.

Пришел Двойна в избу и Андрейке говорит:

— Я теперь большой, а ты малый.
Я отроча, а ты младенец.

Андрейка лоб нахмурил:

— Пчму-у-у?

— Я у исповеди был.

Андрейка к матери пристал: и я хочу!

— Мал еще! Третий год. Какие у тебя грехи?

Андрейка подумал, подумал — и кошку за хвост потащил. Кошка вырвалась, Андрейку расцарапала, не вышло греха. Андрейка еще подумал — и маслбойку опрокинул. Шлепнула его Авдотья, разобидела, а к исповеди всё равно не пошли. И ведь додумался парнишка! Сказал Двойне:

— Я малый, у меня грехов нету. Всё равно как у Ангела.

Разве же Двойна уступит?

— Нет, малым быть хуже, чем большим.



— Пчму-у-у?

Двойна задумался — что бы еще ему такое сказать?

— Большие в портках ходят, а ты с голым пузом.

Уперся Андрейка: хочу портки, и всё тут. Мать сказала:

— Мал еще, замараешь.

Тогда Андрейка нашел в сенях старые голенища от бабкиных сапог, надел их на ноги и ходит, вроде как в портках. А что пузо по-прежнему голое, ему и горя мало. Олекша увидал, засмеялся и говорит:

— Ничего не поделаешь, мать, придется шить.

Сшила Авдотья сыну портки, да еще какие — пестренькие! Надела поутру обновку на Андрейку, налила в кружку молока и пустила сына на двор. Пошел Андрейка на огород, стал через плетень перелезать, да зацепился новыми портками за сучок на жерди. Туда,

сюда — а сучок не пускает. Беда! В одной руке кружка с молоком, другая рука тоже занята — портки поддерживает, — а третьей руки, чтоб с сучка сняться, как на грех, и нету. Думал, думал Андрейка, как быть, а потом заревел. Громко заревел, басом. Мать услышала, пришла, отцепила малого от плетня. И молоко Андрейка почти не разлил.

«Нелегко, — думает, — большим-то. Эвон, зацепишься портками за сучок, и сиди на плетне, покуда выручат. А всё-таки буду терпеть. Большим быть лучше, чем маленьким».

Еще годик минул — отдали Двойну грамоте учиться. Совсем большим стал. Батюшка, отец Кузьма, который у Флора и Лавра служит, тот добрый, а грамоте учит строгий дьячок. Сиди целый день на лавке, руки держи на столе, соседей не задирай, локтями не толкайся. Ребята

вместе зовутся — «дружина». В дружине все равны, никому лучшего места не положено. Садись не там, где хочется, а где учитель укажет. Чуть что — ремешком по спине. А Олекша с Авдотьей свое: «Учись, учись, стыдно невеждой быть». Буквы трудно учить — аз, буки, веди... Почему аз и буки, говорится ведь «баба», а не «буки-аз-буки-аз»? А учитель сердится:

— Твое дело учить, а не спрашивать!

Выучили буквы, взялись за слоги. Вот и выходит, что «буки-аз» говорится «ба». И всё-то надо запомнить! Не каждому удастся. Вот Богданке соседскому не удалось — буквы с грехом пополам выучил, а дошло до слогов, тут дело и встало намертво. Бьется Богданка, бьется — никак не выходит у него «ба». Сколько слез пролил! Пришла мать, забрала Богданку. На том его ученье и кончилось.

А Двойна уже не слоги — слова читает. Целые слова! Закончил азбуку, взялся за Псалтирь. Авдотья в тот день

в училище горшок каши прислала, да не простой, а молочной, — это чтоб дружинушке было чем отпраздновать, — а учителю целого жареного гуся. Хорошо Двойна читает, ловко складывает: «Пре-бла-гий Гос-по-ди, нис-по-сли нам бла-го-дать...» И другое, уже уверенней: «Велика бо бывает польза от учения книжного, мудрость велика есть... иже бо книги часто чтет, то беседует с Богом». И житие Феодосия Печерского — как его мать бранила и на цепь сажала за то, что хотел в монастырь бежать. И смешное еще — про льва, который старцу в пустыне воду возил.

— А лев — это что?

— Хищный зверь.

— Как волк? Или как медведь?

— Тебе какая разница?

Рассердился учитель — значит, сам не знает. Двойна не поленился, пошел к Флору и Лавру. Батюшка ученый, должен знать. Тот сказал:

— Видишь роспись наверху? Смотри, куда я показываю.

— Вижу.

— Ну, вон он и есть лев рыкающий.

Оказалось — вроде медведя, только шея длинная и грива, как у лошади. Не страшный, смешной даже. Весело, наверное, старцу в пустыне с ним было жить.

Все бы так объясняли, как отец Кузьма!

И писать Двойна научился — сначала на восковой дощечке, потом на бересте. Береста тверже воска, буквы выцарапывать трудно. Всё равно что заново учишься. Зато на бересте что хочешь, то и напишешь, а потом хоть брось — не жалко. Можно из книги списывать, а можно так просто — «Терёха щеня». Терёха и правда на щенка похож: уши торчат и нос черный, запачканный.

И считать Двойна научился. До десяти, до ста... до тысячи даже.

Записал на бересте: **SVLLA.**

Длинное число, красивое. Шесть тысяч семьсот тридцать девятый. Вот какой нынче год, если считать от сотворения мира. А если от Рождества Христова — тысяча двести тридцатый.

На Красную горку в Горшечной слободе загорелась у Демьянки Рыжего баня. Хорошо хоть загасили, прежде чем на избу перекинулось. Кто его знает, почему загорелось. Может, случайно заронили огонь, а может, худые люди подожгли. В большом городе много всякого народу шатается. Как потушили, Демьянка давай кричать:

— Я знаю, кто поджег, это Ушко Рыбник, он на меня давно грозился и о Рождестве мне из бороды клок выдрал!

Думали, пошумит мужик да уймет-ся, а он вечером, как стемнело, пошел в Рыбную слободу, запалил пук соломы

и сунул Ушку в клеть. Полыхнул пожар, три дома слизнуло — хорошо хоть сами выскочили да успели повытаскать кое-что. Демьянку поймали, повели к князю на суд. Князь видит — мужик как без ума, однако за поджог приговорил строго: дом, двор и всё обзаведенье Демьянкино разорить, часть отдать погорельцам на поправку, часть в казну, на городские нужды, а самого Демьянку, с женой и детьми, в холопы навечно. Был горшечник, уважаемый человек, зажиточный, да всё прахом пошло из-за злобы и глупости. Сыскался гость какой-то заезжий, заплатил за Демьянку с семейством двадцать гривен, посадил на телегу и увез к себе в вотчину, в деревню. Уж как выла Демьянкина жена! Легко ли, с детьми в вечную кабалу. Была женка слободская, сама себе хозяйка вольная, а стала подначальная — что велят, то и делай, а заупрямишься, так накажут.

А всё потому, что для деревянного города пожар — первое бедствие. Карали поджигателей по всей строгости, как убийц и разбойников.

Пожар далеко видно — стоит алое зарево над всем городом. Горело в Горшечной, а увидали и в Кузнечной. Суматоха началась. Дети ревут, бабы скотину из хлевов стоняют, чтоб не сгорела ваперти, если огонь перекинется, мужики рогатины берут да жерди — крыши разбирать. Андрейка с перепугу под крыльцо забился. Мать с отцом бегают, кличут: «Андрейка, Андрейка!», а он сидит и молчит. Потом уж, как в Горшечной слободе потушили, сам вылез, в избу зашел, к мамке на колени забрался.

— Забоялся? — спросила Авдотья.

— Забоя-а-ался...

И Двойна с другой стороны к Авдотье приткнулся. Ему тоже страшно было, когда горело. Только он-то знает, что от огня прятаться нельзя, а Андрейка

маленький еще, глупый. Шепчет Двойна племяшу:

— В другой раз, если загорится, под крыльцо не лезь. Ты сразу ко мне беги, я тебя выведу.

Обняла Авдотья обоих, тихонько петь принялась. Поет, сама ребятишек укачивает, успокаивает.

Баю-бай, баю-бай,
Ты, собаченька, не лай,
Ты, гудочек, не гуди,
Моих деток не буди.
Детки выспятся,
Не куражатся,
А на улочку пойдут —
Разгуляются,
Там с ребятками
Разыграются...

Спит Двойна, спит Андрейка. Крепко спят, ничего не боятся.



Слобод в Рязани много, а миру между ними нет. Никто не знает, отчего так повелось. Сколько себя помнят, столько и враждуют. Двойна в Кузнечной слободе живет, так у кузнецов с горшечниками война. А у кожевников с резчиками. Резчики кожевников зовут «смердельниками» — уж больно смердит от чанов, в которых кожи вымачивают. А горшечники кузнецов дразнят «палеными» — и верно, иной раз у горна не остережешься, можно и без бороды остаться. Столкнутся в городе кузнец с горшечником, кожевник с резчиком, так непременно дурное слово скажут. Бабы на реке встретятся или на огородах — нипочем миром не разойдутся. Бывает, и платки сорвут, за косы схватятся. Ребятишки тоже друг друга тузят, подстерегают...

Воюют еще «конец на конец». Рязань и на горке стоит, и под горкой. Что на горке, называется Верхний конец, а что под горкой — Нижний. Казалось бы,

только и разницы, кто где живет, а вражда нешуточная. В одиночку в чужую слободу лучше и не заходи — поколотят.

— Ты зачем по нашей улице ходишь?!

По праздникам дерутся — слобода на слободу или конец на конец. Сперва уговариваются, в какой день драться и где, в рукавицах или без. Потом выбирают мировых — следить, чтоб всё почестному. Бывают такие хитрецы — сунет в рукавицу подкову, попробуй-ка с ним справишься. Правда, для этого немалая смелость нужна. Если застукают, непременно побьют, чтоб впредь неповадно было.

В условленный день первыми драться выходят малолетки. Они — не всерьез еще. Не столько бьются, сколько старших раззадоривают. Но вот уже кому-то глаз подбили, нос расквасили. Первая кровь, первые слезы... А заревешь, старшие скажут: «Ишь, струсил!» Нельзя

бойцу плакать, никак нельзя. Но вот кузнечата горшенят погнали или горшенята кузнечат, за ними выскочили парни молодые — подростки и женихи. Эти дерутся уже злее, бывает, и до увечий. Одни верткие, так и кружат. Ты противника один раз стукнешь, а он тебя десять. Другие коренастые, как медвежата. Такой упрется в землю, ни о чем его не сдвинешь, хоть с разбегу бей. Но вот опять свист, гам — одна слобода другую погнала с поля долой. Тут уж выходят большие мужики, рукавицы не спеша натягивают, бороды поглаживают. Становятся все в ряд, плечо к плечу. Как крикнет мировой: «Ломи!», тут и начинается бой настоящий... Кому кулачищем в спину, кому в брюхо, кому в лоб. Кто посильнее — пошатнется только, крикнет и снова в драку. Кто послабее — бывает, как сноп повалится. Лучшие бойцы известны всему городу — у кузнецов дядька Радила, у горшечников Ониська Грязной,

у кожевников два брата Олисеевы. А первый в Рязани кулачный боец — княжий богатырь Евпатий. Никого нет сильнее его, он один может шутя всю стенку повалить. Только он никогда для потехи драться не ходит, как ни зови.

— Сила у меня немереная, — говорит Евпатий. — Могу и убить ненароком.

Двойна уже твердо знает: как подрастет, пойдет к дядьке Евпатию в дружинку. Недолго ждать осталось — год-другой, и примут его в дружинные отроки. Тем временем он уж и кузнечному делу учиться у Олекши начал. Хорошее ремесло! Кузнецу везде почет.

Авдотья Двойну драться в малолетках не пускала — слабосильный был, худенький. Опрокинут еще да затопчут... Как стукнуло двенадцать, уперся парень: пойду и пойду. Еще и Олекша поддержал. Нечего, мол, малого за подолом прятать, засмеют. Авдотья рукой махнула, попросила только:

— Ищи тех, кто тебе под силу. На шибко здоровых-то не лезь, ради Бога.

Двойна тонкий, узкоплечий, а драться горазд — боли не боится.

На Масленой драться условились кузнецы с горшечниками под косограмом, близ Флора и Лавра. Ребятишки из Горшечной слободы, первыми выйдя, погнались-таки кузнечат с поля долой. Кузнецкие подростки и парни разозлились, валом повалили на врагов-горшечников — ну погодите, мол, отомстим вам. И быть бы жестокой драке, да вдруг откуда ни возьмись — только схватка закипела — в самой гуще — глядь! юродивый по прозвищу Шадрин затесался.

Шадрин в Рязани Божьим человеком звали. Вечно он нечесаный, в репьях, на одной ножке скачет, свесив рукава. Взрослый уже, а ростом с ребенка. Ночевал Шадрин где придется — летом прямо на церковной паперти или под забором, а зимой, глядишь, кто-нибудь из милости

и приютит, чтоб насмерть не замерз. Кормился Шадрин тоже как попало, милостыней. Зато как выйдет на рязанский торг, крикнет что-нибудь этакое — все дивятся. Даже князю пальцем грозит, не боится. Ну и что ж, мол, что князь, — разве на князе грехов нету? Еще побольше, чем на других. Зато кого Шадрин любил, тем дарил еловые шишки. Нарочно за ними в лес ходил. Хорошей приметой считалось, если юродивый шишку дал. Забрел Шадрин раз в Кузнечную слободу, а мальчишки за ним увязались и давай за полы дергать — смешно им показалось, как он на одной ножке скачет. Старшие увидали, забранились: нельзя Божьего человека обижать, худо будет.

Никогда еще Шадрин в драки не лез. Парни отступили малость — не зашибить бы убогого. А чудно-то как! Юродивый схватил палку и давай сам себя по спине колотить. Его спрашивают:

— Ты что делаешь?

А он в ответ:

— Дерусь, братики, дерусь! Ух, я ему задам!

Мужики смеются:

— Да с кем ты дерешься, сам себя бьешь! Ушел бы ты от греха подальше.

А Шадрин не унимается. Колотит и приговаривает: вот тебе! вот тебе! Тут на шум отец Кузьма — священник из Флора и Лавра — прибежал. Бежит по кособору, чуть не падает, руками машет:

— Стойте! Стойте!

Добежал и спрашивает строго:

— Вы что Божьего человека обижаете?

— Да разве мы его обижаем, батюшка? Он сам себя обижает — ишь, палкой-то лупит, дурак. Отнять надо, а то покалечится...

Посмотрел отец Кузьма на Шадрина и говорит:

— Эх вы. Шадрин-то умней вас. По злобе все ссоры ваши и драки. Ты вот,

Олекша-кузнец, думаешь, ты Гришке-горшене нос расквасил? Нет, брат, это ты сам себе нос расквасил. Случись у одного в слободе беда, соседи ему всем миром помогут. Ну, а если, не дай Бог, всю слободу беда постигнет? Куда побежите? В других слободах вас, чего доброго, кольями встретят — и горшениям-то вы насолили, и с рыбниками в ссоре, и с кожевниками... В одном городе живете, а собачитесь, будто лютые враги! И не совестно вам, православные?

Смутились мужики, загудели. Наконец крикнул кто-то:

— Не нами заведено, не нами и кончится! Еще деды наши драться ходили слобода на слободу.

— А ты, — говорит отец Кузьма, — не бойся быть умней деда. Разве в том беда, чтобы силой меряться? Беда в том, чтобы злобиться. Вы бы подрались маленько, потом попросились да вместе за хлеб-соль сели. А вы вместо того год

злобу копите, чуть что — кулаками швыряетесь. В святой праздник и то сойтись не можете, чтоб друг друга не облаять. Ты вот, дядька Радила, чему своих баб и ребят учишь? Худыми словами браниться, соседям пакостить? А ты в доме старший, с тебя спрос будет. Так ты, значит, и учи их жить в дружбе, по-божески. Ой, рязанцы, нехорошо вы делаете, нехорошо и стыдно!

Кликнул отец Кузьма Шадрина и зашагал с ним вместе по косогору.

Крепко задумались тогда горожане...

Быстро время идет. Вот и Андрейка уже на бересте выводит: **SVMS**.

Новый год наступил, от сотворения мира — шесть тысяч семьсот сорок шестой. А от Рождества Христова — тысяча двести тридцать седьмой.

Страшный это был год. Пришли из-за густых лесов, из далекой степи неве-

домые племена. В первый раз — старики сказывали — появились они на Руси почти двадцать лет назад. Пришли, столкнулись с русским воинством на реке Калке, много народу перебили и опять ушли, как сгинули. И вот опять беда. Никто этих пришельцев прежде не видел, и не знали на Руси, откуда они взялись, и на каком языке говорили, и в какого бога верили. Звали их и монголами, и татарами, и тауменами, и печенегами. Шли они, точно полая вода весной, неуклонно, неотступно, брали приступом, числом. Было их — как песчинок на речном берегу, а за ними оставалась только выжженная земля. Что можно с собой взять — забирали, чего нельзя — жгли, топтали конями. Увозили пленных, угоняли скот, тащили сундуки с утварью, ткани, золото...

Кому посчастливилось уцелеть да сбежать, говорили, что уж больно эти степные воины собой страшны. Не силой

берут, так страхом. Попробуй-ка не испугайся, когда они скачут да визжат. Издали боязно, а вблизи тем более. Лица у них желтые, точно хворые, глазки маленькие, волосы отродясь нечесанные, на голове косматая шапка, и лошаденки под седлом тоже косматые, коротконогие, злые. Такую тучу стрел, бывает, на скаку выпустят, аж белый свет затмится. Там, в степи, говорят, детям с малолетства лук в руки дают. Учись, мол, а вырастешь — воевать пойдешь. Только и делают эти степняки, что воюют. Да и немудрено: скудна их степь, солнцем выжжена, земля там — не мать, а мачеха. Спеклась она от жары, как глина в печи. Ничего не растет, одна колючая трава. Не сеют степняки, не пашут, живут грабежом да от своих кобыл молоко берут, делают сыр и хмельное питье. Из набегов приводят пленников и всю работу им поручают, за послушание бьют палками. Худо в неволе, ой как худо!

Не в том беда, что степняки собой страшны, а в том, что жестоки. Придет орда — степное войско, — деревню ли захватит, город ли, никому пощады не даст, ни мужикам, ни бабам, ни детям. Княжеский терем, избы, церкви огнем пожгут, защитников перебьют. В плен берут с разбором — молодых да сильных веревками свяжут, с собой уведут. Кого к работе приставят, кого в чужую землю продадут. На хороших рабов везде спрос. А старым, малым, слабым — смерть. К чему они завоевателям? Долгой дороги не выдержат, много работать не смогут...

В самом начале зимы тысяча двести тридцать седьмого года появилась орда в лесах Рязанского княжества. Прислали послов в Рязань. Как ехали те через город, рязанцы дивились — уж больно чудны казались им эти монголы-татары-таумены. И верно, лица желтые, шапки рыжие, косматые, сабли кривые, лошаденки

приземистые, чуть ли не вдвое против русского-то коня. Едут — глазами сверкают по сторонам, будто присматриваются. Кому посчастливилось у князя в тереме побывать, рассказывали потом: прислал ордынский царь, хан Батый, послов, чтоб те передали русским князьям ханский указ — покориться Орде и заплатить десятину. Это значит — каждого десятого человека в Орду пленником отослать, каждого десятого коня отдать и из всего имущества десятую часть.

Рязанский князь покориться не пожелал. Однако же и воевать ему было неохота — а ну как побьют? Сына своего, княжича Федора, отправил с богатыми подарками к хану Батю на реку Воронеж. Может быть, примет хан дары и уйдет обратно в степь? Худо Федора Юрьевича приняли в ханской ставке, безо всяких почестей, как будто не княжеский сын явился, а виноватый слуга. Сам Батый в своем шатре развалился

на подушках, кумыс пьет, вокруг сидят его военачальники. Княжичу сесть не позволили, угощенья не предложили да еще и в спину толкают: кланяйся, мол. Кланяться Федор Юрьевич не стал. Это Батыю не понравилось — нахмурился.

— Плохо, — говорит, — слуга мой Юрко Рязанский меня встречает. Подарков мало шлет, сам не едет, кланяться не хочет. Ну, раз ты приехал, потешу тебя, покажу, как мы веселимся.

Стали ханские певцы песни петь, потом плясуны вышли. Пляшут, а в руках острые сабли. Как взмахнут один над другим — кажется, вот-вот голова с плеч! И прыгают они над саблями, и изгибаются всячески. А Батый поглядывает на гостя: нравится ли потеха? Не просто так степняки пляшут, а показывают свое воинское умение. Вот как, мол, врагам будем головы рубить.

Ушли танцоры, вышли танцовщицы — гибкие, стройные. Кругом бубенчиками

увешаны. И к ногам привешено, и к рукам, и к поясу, и к волосам. В шатре звон стоит, как будто кошель с монетами трясут. Проплясали девушки, Батый у княжича спросил:

— Нравится? Лучше, чем у вас?

— Наши девицы не хуже пляшут, — отвечает Федор Юрьевич.

Усмехнулся хан и говорит:

— Привези мне в подарок десяток русских девушек. Желая я поглядеть, как пляшут на Руси!

Княжич так и вспыхнул:

— Не бывало еще, чтоб русские люди своих дочерей да сестер по доброй воле в рабство отдавали! Вот если победишь нас, тогда и будешь плясками тешиться!

Там его и убили, в ханском шатре, княжича-то Федора... Не понравился Батью дерзкий ответ.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Священник Александр Гумеров.</i> Паломничество в прошлое.....	5
<i>Дорога домой. Повесть-сказка</i>	13
<i>Большое путешествие Саши Греминой. Повесть-сказка</i>	201